

ПОЭЗИЯ "ЦИРКА" ОДИНОЧКИ



1997 №20

палац или Пугач, лампасы пришлеца...
Где милосердия (да и была ль) сестрица?
А злобе несть числа, и мести несть конца...

И открываю я напиток,
скорее приготовленный для пыток,
чем для торжественных и прочих возлияний
(глоток - желудок твой завоет, точно Вий) -
"Кавказ". "Агдам", "Долляр" - какой букет названий!

Курорт. Нет водки. Хлещешь дрянь.
А вы-то что пивали? Финьшампань?
На променаде, в Царском будучи Селе,
обедая, что принимали, в самом деле,
коль возвращались в Петербург навеселе?

Муж, славный малый, интендант,
пил водку, и блистал его талант
вышучивать накал передовых идей,
эмансипированных дам и нервных дядей -
прямых, как трости, новых, так сказать, людей.

Быть может, и смешны они,
но вы заметили, что ваши дни
заполнили их злость и жесты, и слова.
Не принимать? Порвать? Но как? Друзья. И снова
за чаепитьями болела голова.

Вы в кресле у окна скучали,
но вас ничуть друзья не замечали,
а разговор случись - сведется все к упрекам,
как школьну - линейкой по рукам,
за равнодушие к общественным порокам.

Летят года. Хандра. К тому же
при ипподроме покупает муж
так, в общем, пустячок... Аптеку. Се ля ви.
На это милый тратит уйму сил и крови,
твердя, что лошадь стоит, как и Русь, любви.

Он одержим. Его проект:
им в компании взят один субъект,
который только что покинул Новый Свет.
По типу тамошних - он в тонкостях все знает -
в аптеке ставятся столы а ля фуршет.

- Двойная выгода, ма шер,
пошаливают нервы, например -
в аптеку поспешит педант - пожалте, бром,
но игроки завязанные стоят на старом -
анисовая, рассстегай, старка, ром.

Муж, отдавшийся делами,
друзья да критика (та, между нами,
уверена: в Руси словесность лечит плетка) -
все это по весне на белизне платка
дало кровавую отметину - чахотка.

К концу идет напиток мой...
Уже смеркается. Пора домой.
Что ж, Евдокия Павловна, пора отсель.
А дом, где жили вы, дом капитанши Стессель,
стоит. Там за трояк снимаю я постель.

Теперь в нем несколько семей.
Хозяйкина племянница, ей-ей,
еще жива, и ей курорт дает навар.
Отнюдь не бедствует, она же мой шеф-повар
и ставит ввечеру старушка самовар.

Все в детстве остро и пестро.
Ей помнится: колышется перо
на модной шляпе бывшей фрейлины двора;
Киссида, местный туз, гурман; торговцев свора;
помещик тульский Мнев и вы, и доктора.

Тянулись дни не без печали,
но вас заметили и привечали.
В дворянском вечер был (афиша и билеты),
и вы прочли без позы и без суэты
свои любимые последние сонеты.

Открыв блювар, глядите вы
в окно, ослепшее от синевы,
где игры Беклина мрачны, но и легки;
сквозь слезы - то ли утреннего моря блестки -
перебираете тюремные листки.

- Мой мальчик, бедный мой, прости
стихи мои тех лет и отпусти
грех суетливости произнесенных слов,
ovationi университетских залов,
тот рыцарский, скликающий на подвиг зов.

Давно и рано ты угас, -
вы говорите с ним, в который раз
ему или себе пытаешься объяснить -
что? Жизнь? Судьбу? Рыдаете, клянетесь помнить,
и мысль теряется, и разговора нить.

- Раз в месяц-два письмо бывает,

наш общий друг меня не забывает:
"...попалась на глаза в журнале ваша пьеса.
Все тот же темный миф, нелепость, чудеса...
В глазах передовых людей вы - враг прогресса".

Ну что ж, мне не о чем тужить.
Я независимо пыталаась жить,
писать, не думая при этом ни о ком,
кто и куда меня зачислит ненароком...
Неужто и твоим я стала бы врагом?

Я фотографию твою
от мужа, словно грешница, таю,
но мною он любим - Господь его храни.
Тут плакал, как дитя, уткнувшись мне в колени.
Так вот... Я говорю бессвязно, извини.

Горяч наш общий друг весьма,
и любой веет от его письма;
видна она в его речах, статьях - везде,
но разве ненависть подвигнет нас к свободе?
Свобода ненависти приведет к беде.

Скажи, как это получилось -
все вами отдано уму на милость,
но ум наш так лукав, жесток и хладнокровен!
Мы сердце жертвуем ему, но сердце не овен,
оно лишь ставит человека с Богом вровень.

Мне хуже. Потому боюсь,
что не успею - вот и тороплюсь
закончить несколько моих заветных пьес...
От мужа телеграмма - как он это вынес?
аптека лопнула, а компания исчез.

О, Комендантский ипподром -
и шум, и крик, рукоплесканий гром!
Будь я мужчиной, думаю, наверняка
и мне б понадобилась, подвернулась, аптека,
соседство праздника - азарт, игра, бега!

Осталось мне немного дней.
Не потому ль на жизнь смотрю жадней,
а жить мне стоит превеликого труда.
Спасибо Господу, хоть пишется покуда,
вот только слово - мучает, как никогда.

Что слово? Личный путь к свободе.
А что до отзыва в народе,
то, чем он явственней, тем в слове фальши
больше... А там уж и "все средства хороши
в стяжании свободы для Руси и дальше".

Бутыль пуста. Еще б глоток!
Простите, что прервал я монолог,
продолжив вашу речь в последних двух строках,
В безвременье всегда приходит мысль о сроках,
где ты, трубач, с трубой золотой в руках?

Пусть медленно она звучит,
волчица воет и петух кричит,
и смертный человек, сей глиняный сосуд,
глухонемого века молчаливый рекрут,
услышит звук, прозреет срок, увидит Суд.

Ужель при жизни повезет,
и я, рожденный в беломорканальский год,
в Отечество своем и твердь, и честь найду,
и из души все бывшее навек избуду,
а там и в гроб в раскаянной земле сойду?

Aх, Евдокия, вы поверьте,
прекрасный год вы выбрали для смерти -
на рубеже веков, эпох, девятисотый.
Вы не увидите, как двинется Батый -
двадцатый век. Да с перышком, да косоротый...

Луна взошла. Горит неон.
Мерцают буквы - Эжени Коттон.
Из корпуса выходит санаторный люд,
в мужских объятьях мамы-одиночки тают,
и дети их под кипарисами снуют.

Прибоя нарастает звук,
и говор гальки - деревянный стук -
до дрожи холодит, и тут я нездоров,
когда летейских слышу музыку оркестров -
стук бирок на ногах - фанеру номеров.

Что до трубы, то здесь она
по вечерам отчетливо слышна -
плывет ее металл и стонет вдалеке,
клубится пыль на танцплощадке в парке,
и тяжко мне идти, хотя я налегке.

Гремят в акациях цикады,
гульба, любовь, вечерние наряды,
и средь толпы - забвенья, водки ли алкага -
с народом в ногу, иль почти, шагаю я...
И море Черное шумит, не умолкая.

Москва, 1981-1983